

Константин Богданов

Риторика ритуала.

Советский социолект

в этнолингвистическом освещении

1.

В работах историков своеобразие советской эпохи предстает своеобразием идей, ситуаций и даже человеческих типов, воплотивших реализацию воспитательного проекта по созданию нового, «советского человека» (в эпоху Брежнева неблагозвучно перекрещенного в «гомососа» — «*hominem sovieticum*» — и «совка»), но, с филологической точки зрения, это также (или прежде всего) своеобразие коммуникативного дискурса, обслуживавшего советскую идеологию — новые слова, новые тексты, новые (в том числе и медиальные) формы социального общения. Масштабы языкового новаторства советской эпохи в наибольшей степени выражаются в разнообразии т.н. семантических, лексико-словообразовательных и стилистических «советизмов» — слов и словосочетаний, характерно окрашивающих со-

Константин Анатольевич
Богданов

Институт русской литературы
(Пушкинский дом) РАН,
Санкт-Петербург / Университет
Констанца, Германия

¹ См., напр., авторское предисловие к юному читателю: «В ваших руках книжка о словах русского языка советской эпохи, о словах, где немолчно бьется горячий пульс героической жизни нашей Советской Родины, о тех самых словах, которые являются настоящими героями нашего удивительного и славного времени» [Шанский 1980: 3].

бою тексты общественно-политического значения¹. Но роль лексико-семантических новшеств, вызванных новизной и своеобразием политической действительности, видится в историко-культурной ретроспективе более широкой, чем сфера политического идиолекта. Исследования по истории русского языка советской эпохи наглядно демонстрируют, что эффект таких новшеств выразился на самых разных уровнях коммуникативного дискурса, трансформировав не только формальные, но и содержательные способы коллективного взаимопонимания [Мокиенко, Никитина 1998]¹. Пользуясь терминологией Никласа Лумана, рассуждавшего о медийных условиях, способствующих превращению изначально «невероятной коммуникации» в вероятную и социально эффективную, можно сказать, что в истории русского языка эпоха советского прошлого стала временем, когда использование самого русского языка — в целях такой коммуникации — претерпело как структурные (словообразовательные), так и коммуникативно-семиотические (риторические и лингво-когнитивные) изменения. Русский язык XX в. не может быть корректно описан без учета этих изменений, но еще важнее, что последние не сводятся исключительно к области описательной лексикографии [Essais 1981; Weiss 1986; Земская 1996; Ермакова 1997].

Язык первых лет Советской власти наводнился множеством неологизмов и новшеств, неведомых литературному языку XIX в. А. М. Селищев, подготовивший к 1927 г. обширную сводку соответствующих примеров, сравнивал языковую практику своих современников с французским языком революционной эпохи 1789–1794 гг., но отмечал существенную разницу: тогда как французские революционеры демонстративно отказывались от речевых нормативов языкового обихода предшествующей поры, советские речетворцы в общем и целом не порывали с языком русской интеллигенции дореволюционного времени. Приводя в своей книге слова и языковые новшества, отличающие язык советского времени от языка дореволюционной поры (экстенсивное распространение аббревиатур, вульгаризмов, лексических и синтаксических заимствований из иностранных языков, канцеляризм, морфологические новообразования и изменение прежних значений слов и т. д.), ученый полагал (или, возможно, надеялся), что языковая практика современников в

¹ В критической рецензии на этот словарь Эрик Хан-Пира замечает, что собранные авторами советизмы не могут, строго говоря, называться языком, так как они не могут служить примерами особой фонетики, грамматики и особых моделей словообразования [Хан-Пира 1999]. Но он не учитывает, что советизмы существовали не только как отдельные слова, но и как маркеры текстов, трансформировавших представление о грамматических и синтаксических правилах русского языка XIX в., см. также: [Lenfeldt 2001; Протченко 1985; Heller 1979]. О роли такого маркирования на уровне риторического оформления текстов и их смысловой суггестии: [Козлова 1996; Романенко 2003].

целом является преемственной к языковой традиции, сложившейся в течении XIX в. [Селищев 1928].

Стараясь быть академически объективным, Селищев все же давал понять читателю своей книги (и это припомнится репрессированному в 1934 г. ученому)¹, как он относится к нововведениям, меняющим облик русского литературного языка не только с морфологической, но также со стилистической и общесемантической точек зрения. К середине 1930-х гг. в наиболее явном виде такие изменения выразились в появлении многочисленных речевых штампов, апеллировавших, с одной стороны, к «авторской» инстанции стоящей за ними власти, а с другой — к денотативно расплывчатым метафорам и семантически неопределенным призывам [Селищев 1928: 24–25]². Лозунги и тезисы послереволюционного времени конструируются в соответствии с приемами ораторско-диалогической речи, но в коммуникативном отношении предполагают не диалог, а монологическое согласие аудитории. Призывы «Даешь!», «Поменьше словоблудия — побольше дела!», «Пятилетку — в четыре года» и разноименные здравицы во славу революционных героев составляли (хотя хронологически и варьировали) монологическую риторику советской идеологии вплоть до развала СССР. «Фоновое знание» любого коллектива поневоле предопределяется фразами и словами-сигналами, которые так или иначе присутствуют в его медиальном кругозоре, но коммуникативный парадокс такого присутствия в советской действительности состоял в исключительной по своей медиальной агрессивности и, как показало время, исторической живучести слов и словосочетаний, которые в ретроспективе можно считать прецедентными для советской идеологии [Левин 1988; Weiss 1995].

Собственно, уже Селищев продемонстрировал своим исследованием, что семантика соответствующих текстов проще описывается в категориях коммуникативной и эмоционально-экспрессивной, а не номинативной функций речи. Особенно показательны в этом случае приводимые Селищевым примеры, когда непонимание говорящими значения новых терминов и словосочетаний не препятствует их контекстуальному использованию как сигналов определенного социального дейксиса

¹ Селищев был осужден по т.н. «делу славистов» («Российской национальной партии») на пять лет лагерей (досрочно освобожден в 1937 г.). В 1935 г. в «Правде» была опубликована статья К. Алавердова, в которой монография ученого была объявлена «гнусной клеветой на партию, на наших вождей, на комсомол, на революцию», а ее автор — «классовым врагом», «черносотенцем» и «махровым антисемитом». Селищев скончался от рака в 1942 г., а его книга на долгие годы была изъята из научного обихода.

² См. также: [Фесенко, Фесенко 1955; Земцов 1985].

(коммунист — «кто в бога не верует»; комсомолец — «это тоже как коммунисты», социализм — «это по-новому жить», совет — «это где служат советские», советский служащий — «это у власти кто служит» и т.д.) или даже такому использованию способствует, служа признаком образованности, учености и посвященности в особую смысловую эзотерику [Селищев 1928: 53–56, 215, 216]¹.

Подмеченная уже Аристотелем эмоционально-риторическая привлекательность «чужой» речи (Poet. 1458a–1458b; Rhet. 1405a8) проявляется в этих случаях вполне наглядно: малодоступные для широкого понимания слова и обороты призваны повысить ценностный статус маркируемого им знания, а соответственно и статус его носителей. Лозунги, призывы, устойчивые словосочетания, метафорические эпитеты («загнивающий капитализм», «хищники империализма» и т.д.), опознаваемые как важные элементы советского социолекта, в этих случаях не столько нечто обозначают, сколько указывают сами на себя и на действия говорящих. Их коммуникативная функция, говоря в терминологии Остина, не конститутивна, а перформативна, подразумевая не языковую, но социальную прагматику.

Элементарность лексико-синтаксических приемов, нацеленных на социально-прагматическую реализацию контекстуально предсказуемых намерений, обнаруживает в функционировании советизмов много общего с другими примерами использования политизированной лексики в условиях тоталитарных идеологий². «Тоталитарные» социолекты оказываются при этом схожими прежде всего в плане объединяющего их перформативного целесообразия, диктуемого стремлением не назвать, а создать называемое, утвердить (квази)онтологическое существование языковой действительности. С известными оговорками такие социолекты могут быть соотнесены с языком магического фольклора — заговоров, заклинаний, словесных оберегов, целесообразие которых напрямую связано с самим актом их произнесения, а не с буквальным содержанием (иногда нарочито невнятным, как в случае заклинательных абракадабр [Богданов 1995]).

Наблюдения над языками ритуала оказываются в этих случаях небезразличными и в том отношении, в каком они демонстрируют, как это показал Джон Дю Буа, функциональную эффек-

¹ См. также: [Шафир 1924].

² Классической работой, положившей начало социолингвистическому сравнению тоталитарных дискурсов, стала книга Виктора Клемперера «LTI. Язык Третьего рейха» (1947), рус. перевод: [Клемперер 1998]. В широком сопоставительном плане проблемы «тоталитарного языка» рассматриваются в монографии [Young 1991]. См. также: [Ржевский 1951; Hodgkinson 1955; Эйдли 1989; Hodge, Kress 1993; Купина 1995].

тивность самоочевидных (эвиденциальных) высказываний. Даже тогда, когда ритуальные высказывания апеллируют к авторитету (и значит, в принципе, могут подвергаться сомнению со стороны аудитории), они, как правило, приобретают свойства имперсональных, обезличенных, анонимных текстов. Такое приобретение реализуется за счет таких особенностей ритуальной прагматики, как специфическая комплиментарность ритуальной речи по отношению к речи обыденной, ее параллелизм (повторяемость и парафрастичность), наличие обезличенных посредников в передаче ритуального высказывания, языковые ограничения (формализация и «эзотеризация» высказываний) [Du Bois 1986: 313–316]¹.

Политическая риторика обнаруживает схожие черты, проявляющиеся, в частности, в апелляции к самоочевидности аналитических истин, имперсональной повторяемости авторитетных высказываний (цитировании), аргументативной роли «позиционных личностей» (избавляющей говорящего от субъективной интенциональности: политик равно хорош или плох, так как он говорит «ради кого-то» и «от имени кого-то») [Capp, Capp 1965; Irvine 1982; Irvine 1989]. Аналогии из области ритуала и обрядового фольклора кажутся при этом тем оправданнее, что в структурно-функциональном отношении лозунги, приветствия и устойчивые словосочетания советского социолекта ситуативно соотносились с событиями, которые описываются как (квази)ритуалы, — митингами, партийными собраниями, демонстрациями, съездами и т.д. [Lane 1981; Urban 1982; Riegel 1985; Глебкин 1998]².

Ритуаловедческий подход к изучению политических институтов может считаться оправданным, конечно, не только применительно к советской истории. О плодотворности использования антропологических (а в отечественной номенклатуре — этнографических и фольклористических) методов в политологии активно заговорили с начала 1960-х гг., когда стало ясно, что накопленный опыт изучения традиционных обществ оказывается эвристически уместным, если мы стремимся понять конститутивные основания символических ценностей, побуждающих людей к тем или иным социальным действиям. Пионерской работой в этом направлении

¹ Есть русский перевод, увы, без библиографии: [Дю Буа 1998]. См. также: [Urban 1989; Boyer 1990].

² «Атеистическая по форме и устремлениям советская идеология может быть истолкована как религиозно-мифологическая. Она имеет собственную „священную историю“, свои „кануны“ в виде „революционных событий 1905 года“ (действия, дублирующие „главное“ свершение и предвещающие его), своих предтеч (революционные демократы XIX века), своих демиургов и пророков, подвижников и мучеников, свои ритуалы и обрядовый календарь» [Неклюдов 2000: 30].

стала книга Меррея Эдельмана «Символические способы политики» [Edelman 1964]¹, положившая начало функциональному сопоставлению мифоритуальной и политической символики. В русле такого сопоставления изучение языковых и собственно речевых аспектов социального взаимодействия кажется само собой разумеющимся, но более плодотворным оно, естественно, видится там, где содержательные аналогии между мифами, ритуалами и политикой выступают наиболее ярко. Идеологии, о которой можно было бы сказать, что у нее нет «ритуально-мифологической» или «фольклорной» составляющей, по-видимому, не существует², но ясно и то, что в разных обществах такие составляющие (если понимать под ними прежде всего так называемые «прецедентные», общеизвестные тексты, знание которых является одним из критериев идеологического контроля и социального самоопознания [Караулов 1987: 216; Козлова 1996: 161])³, выражаются по-разному и обладают различной коммуникативной настоятельностью.

Пропагандистские лозунги, окружавшие советского человека всюду и везде, являются в данном случае ярким примером прецедентно ритуализованного и уже в этом смысле фольклоризирующего дискурса коммунистической идеологии, а коммуникативный *смысл* привычных для советского человека лозунгов может быть описан по аналогии со смыслом дейктических слов (в наиболее явном виде — местоимений и личных глагольных форм): с одной стороны, такие слова указывают сами на себя, а с другой — на распределение статусных ролей участников коммуникации: на 1) тех, кто говорит, 2) тех, о ком говорят и 3) тех, к кому обращаются⁴. Само это распределение важно именно в коммуникативном, а значит, и прагматическом отношении: текст, адресованный к «слушающей» или «читающей» аудитории, реализует себя в данном случае не в том, *что* он сообщает, а в том, *кто* сообщает и *кому* он в данном случае адресован. Поведенческим примером того же — (квази)ритуального дейксиса — могут служить аплодисменты, коммуникативно «синкопировавшие» выступления партийных ораторов (характерно, что указания на аплодисменты — «аплодисменты», «бурные аплодисменты», «общая овация» и т.д. — были обязательны и при публикации таких выступлений).

¹ Заметим, что английское название книги Эдельмана (The Symbolic Uses of Politics) не поддается буквальному переводу на русский язык: англ. «Uses» подразумевает как способы, так и цели, ради которых эти способы используются. Эту сложность учел и немецкий переводчик [Edelman 1990].

² См., напр., давнюю работу с характерным названием: [Arnold 1937]. Ср.: [Kertzer 1988].

³ Применительно к фольклору и фольклористике: [Богданов 2001: 47–69].

⁴ О коммуникативной семантике дейксиса: [Успенский 2007].

Ритуальные аналогии (как и любые аналогии) не являются, конечно, единственно достаточными для объяснения в советском речевом обиходе лексико-синтаксических оборотов, которые сегодня резонно расцениваются как безграмотные, внутренне противоречивые или попросту бессмысленные, но до известной степени они проясняют прагматическое целесообразие советского социолекта как языка, дополняющего собою язык(и) «внеритуальной» повседневности. Восприятие любого текста, как показывают психолингвистические эксперименты, зависит от социальных и психологических установок реципиента — ситуативных predispositions (например — отношения к автору текста), создающих своего рода модель «опережающего» истолкования смысла информации [Wertsch 1975].

Риторический эффект такой зависимости отмечал уже Квинтилиан, полагавший (вслед за Цицероном в «Бруте») необходимым условием ораторского искусства человеческое и гражданское достоинство. По мнению Цицерона, знаменитые ораторы были прежде всего людьми чести и долга, знатоками не только красноречия, но также философии и словесности. Квинтилиан делал из этого следующий шаг: выдающийся оратор должен быть «доблестным мужем» или попросту «хорошим человеком» (*vir bonus*), выделяющимся не только своими способностями к красноречию, но и добродетелями души, востребованным в общественных и частных нуждах¹. Ни Цицерон, ни Квинтилиан не предполагали, конечно, что акцент на гражданских качествах оратора снимает с него обязанность овладения навыками виртуозной речи, но в глазах аудитории требования, предъявляемые к оратору, в существенной мере были (и остаются по сей день) безразличными к формальным и силлогистическим особенностям ораторского говорения. Часто (и это подтверждает опыт психолингвистических исследований) важнее не речь, но тот, кто ее произносит; не качества текста, но репутация его автора.

Важно учитывать и то, что само содержание текста предопределяется и меняется в зависимости от конкретных «перцептивных задач», которые с ним связываются. Психолингвисты говорят в этих случаях о стратегиях восприятия и *образах* содержания текста, предвосхищающих и опосредующих смысловую обработку речевой информации, о функциональной роли текста в качестве ориентировочной основы в социальной (в том числе и некоммуникативной) деятельности [Лаурнати, Вихолеми 1976; Леонтьев 1979: 20–24]. Особенности советского со-

¹ «Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi virtutes exigimus <...> vir ille vere civilis et publicarum privatarumque rerum administrationi accommodatus» (Inst. Orat. Prohoemium. IX–X).

циолекта должны описываться при таком подходе с учетом символического характера тех текстов и тех слов (также обнаруживающих при своем восприятии «образы содержания», несводимые к лингвистической структуре значения [Журавлев 1972; Леонтьев 1979: 27–28]), в которых он себя выражает.

2.

Исследователи советского общества и культуры, вслед за Джорджем Оруэллом, часто писали о специфическом «двоемыслии», свойственном общественному сознанию (прежде всего — интеллигенции) в условиях тоталитарного режима. Представляется, однако, что правильнее говорить не о «двоемыслии», а о специфическом «двуязычии» или даже многоязычии, характеризующем речевую культуру советского общества. Примеры коммуникативного двуязычия, о чем уже говорилось выше, хорошо известны из ритуальной (в частности церковной) традиции, демонстрирующей нарочитое противопоставление языка магических и сакральных текстов, с одной стороны, и языка повседневности — с другой [Адмони 1994: 94–102]¹. Нечто схожее наблюдается и в советской — пусть и внешне секуляризованной — культуре. Абсурдная силлогистика Сталина и нечленораздельное словопроизводство Брежнева (не замедлившее найти своих анекдотистов), при всех своих собственно суггестивных эффектах², функционируют в системе речевого поведения, соотносимого с социальной прагматикой, схожей с прагматикой ритуала.

Описание русского языка советской эпохи в терминах коммуникативного многоязычия видится лингвистически продуктивным прежде всего при изучении лексики, условно названной Виктором Заславским и Марией Фабрис «лексикой неравенства», используемой для «описания конкретных практик и механизмов социального, политического и экономического неравенства и стратификации в советском обществе» [Zaslavsky, Fabris 1982: 391]. Специфика советского социолекта в значительной степени обуславливалась, как показывают эти авторы, институтами цензуры, санкционировавшей сферу идеологически рекомендованных тем и, в конечном счете, идеологически рекомендованного словоупотребления. Ряд тем, не подлежащих публичному обсуждению, годами дискурсивно «вычер-

¹ Обзор и литература вопроса: [Keane 1997].

² О языке Сталина: [Розина 1991; Вайскопф 2001]. Книгу Вайскопфа справедливо критиковал Е. Добренко, указавший на то, что представление о языке Сталина как силлогистическом курьезе не дает ответа на вопрос о его убедительности в глазах широкой аудитории [Добренко 2001]. Ценные наблюдения над риторикой сталинского «Краткого курса Истории ВКП(б)»: [Власов 2002]. О языке Брежнева: [Sériot 1985; Кертман 2007].

кивался» из печатного и официального словоупотребления, закрепляя в социальном общении своеобразные зоны умолчания и такие риторические приемы, которые позволяют говорить о «возникновении в советском русском языке чего-то вроде политической диглоссии» [Там же: 395]¹. Лексикографические особенности советского социолекта отражают, однако, не только цензурные, но и более глубокие — прежде всего социально-психологические — механизмы властного контроля над словом в авторитарных и тоталитарных обществах. Цензура (и — не в последнюю очередь — автоцензура) как институт такого контроля является при этом не причиной, но следствием тех — далеко не всегда рациональных — предпосылок, которые способствовали общественному убеждению в оправданности самого этого контроля.

Отношение к тексту в советском обществе, на первый взгляд, может показаться близким к сакрализации сказанного и написанного: неадекватно жестокие наказания за корректорские опечатки в эпоху сталинизма и вера в то, что «рукописи не горят», являются следствием одного и того же ритуального миропереживания. Претензии Сталина заявить о себе как классике общего языкознания также, вероятно, небезразличны к тому убеждению, что власть над языком есть также и власть над тем, что он собою обозначает². Возражения Сталина против «яфети-

¹ См. также: [Venclova 1980; Кронгауз 1993].

² О возможных причинах обращения Сталина к языкознанию: [Philips 1986: 92–94; L’Hermitte 1987: 73–75; Алпатов 1991: 181–187; Алпатов 1993; Gray 1993]. Алпатов с сомнением относится к предположению, что Сталина мог раздражать «малый культ Марра» как мешающий «его собственному большому культу» [Алпатов 1991: 184]. Мне такое предположение кажется, напротив, вполне оправданным, причем поводом к такому раздражению могли быть юбилейные торжества 1949 г., объединившие в рамках публицистических славословий имена Марра и Сталина (в связи с семидесятилетием Сталина и пятнадцатилетием смерти Марра). См., напр., статьи, открывающие выпуск журнала «Русский язык в школе» (1949, № 6): Акад. И.И. Мещанинов и проф. Г.П. Сердюченко. Языкознание в Сталинскую эпоху; Проф. Н.С. Чемоданов. И.В. Сталин и советское языкознание; Проф. Е.М. Галкина-Федорук. Н.Я. Марр — творец нового учения о языке. Интересно, что еще в 1931 г. критически настроенная к Марру редакция журнала «Революция и язык» (гл. ред. М.Н. Бочачер — директор Института языкознания при Наркомпросе), отказывая Марру в праве считаться «основоположником марксизма в языкознании», противопоставляла его лингвистическим работам «труды Маркса, Энгельса, Ленина, а также и Сталина — все труды в целом, а не только специальные их высказывания по вопросам языкознания», как «достаточные основы для построения настоящей подлинной марксистско-ленинской науки о языке» [Наши задачи 1931: 4]. Для решения этого вопроса немаловажно, может быть, и то, что иностранных языков, за исключением русского, Сталин не знал, хотя, по ряду свидетельств, в молодости пытался учить немецкий и даже эсперанто [Троцкий 1990: 402; Сто сорок бесед 1991: 257]. На полях прочитанных Сталиным книг встречаются попытки перевода отдельных слов и имен собственных (не всегда успешного: так, под гравированным портретом Гольбаха в работе Г. Александрова «Философские предшественники марксизма» рукой Сталина написано: «Pol Henri Holbach»). Иногда Сталин-читатель подчеркивает иноязычные выражения, в частности латинские: например, обводит волнистой линией заключительную фразу в работе Маркса «Критика Готской программы» «*Dixi et salvavi animam meam*» [Илизаров 2000]. Иницированная Сталиным дискредитация Марра может быть расценена на этом фоне и как сублимация неудач в практическом овладении иностранными языками (замечу попутно, что, защищая отвергавшуюся Марром индоевропеистику, Сталин признает за сравнительно-историческим методом хотя бы ту пользу, что он «толкает к работе, к изучению языков»).

ческой теории» Н. Марра реабилитировали не только грамматику и традиционную компаративистику, но приоритет «надежных» системно-статистических языковых описаний. Характерные для Марра рассуждения о стадиальной динамике семантических изменений уступили место статистическим наблюдениям над повторяющейся вариативностью морфологических единиц [Виноградов 1952: 48–55; Алпатов 1991: 191–209]¹. Показательно и то, что один из главных «теоретических» тезисов, провозглашенных Сталиным в ходе так называемой полемики «по вопросам языкознания», развел понятия языка и идеологической надстройки. В противовес Марру, полагавшему язык зависимым от базиса — производительных сил, производственных отношений, Сталин наделил язык «диалектической» самостоятельностью. Важно подчеркнуть вместе с тем, что, хотя Сталин и отверг языковое учение Марра, их взгляды на язык в определенном смысле могут считаться схожими.

Марр был убежден, что язык дифференцирует смыслы, которые существуют до и помимо языка и которые, строго говоря, безразличны к тому, как они дифференцируются — за счет речи, письма или чего-то еще. Такое «еще» Марр, как известно, находил в явлении, которое можно было бы назвать мистическим, если бы оно не декларировалось с опорой на марксизм. Это так называемый «ручной язык» — понятие, которое является ключевым для генетической (или, как называл ее сам Марр, «яфетической») теории языка [Марр 1934: 106–109, 118–120]. Стоит оценить новизну этого понятия в идеологической и научной ситуации 1920–1930-х гг. С одной стороны, понятие «ручного языка» поддерживало ставшее к тому времени уже хрестоматийным положение Маркса и Энгельса о роли руки в эволюции человека, а с другой — решало (или, точнее, снимало) одну из основных методологических проблем исторической и теоретической лингвистики, проблему, связанную с дуализмом «устности» и «письменности». Генетически, а значит, и по своей сути (*ab origine*) язык предстал в теории Марра как единство мышления, письма и труда. В современных терминах можно было бы сказать, что Марр понимал язык примерно так, как Остин понимал перформатив: язык не называет, язык делает.

Положение об акциональной природе языка, принципиальное для Марра и его последователей (И.Г. Франка-Каменецкого, О.М. Фрейденберг, И.И. Мещанинова, в последние годы своей жизни — Д.К. Зеленина), лежало в основе той анаграмматической комбинаторики («глоттогенетических» первоэлементов

¹ Применительно к фольклористике дефамация Марра выразилась в торжестве описательных методов анализа и отказе от представлений о динамической («стадиальной» и «взрывной») диахронии, напр.: [Астахова 1951]. Ср.: [Талпа 1937].

«сал», «бер», «йон», «рош»), которая позднее будет сочтена и объявлена абсурдной. Следует заметить, однако, что логических изъянов в аргументации Марра нет. Если язык является не знаменательной системой, а действием, то суть лингвистического анализа заключается в выявлении функций, а не значений, в частности ведущей роли сказуемо/предикативных частей речи, а не именительных (не исключено, что Марр в данном случае как бы проецировал эргативность грузинского языка на структуру русского [Мурашов 2000: 605]). Классическое языкознание, сравнительная индоевропеистика виделись ему, с этой точки зрения, ошибочными не только идеологически (уже потому, что они не считаются с ролью труда и руки в эволюции человека, а значит, и в эволюции его языка), но и логически (хотя бы потому, что они исходят из положения о разных языковых семьях при очевидном единстве человечества, а значит — и «человеческого» языка). В противостоянии «буржуазной» индоевропеистике Марр отстаивал такое понимание языка, которое акцентировало — при всех своих историко-социологизаторских декларациях — антропологическое и биологическое единство человеческого рода. «Ручной язык» — это язык, на котором говорят все, все человечество, — он един и потому «общепонятен» по самой природе человека. Идеологическая функция лингвистики представляла поэтому решением не просто научных, но именно социальных задач (объясняя, между прочим, и ту пропагандистскую риторику, которую марристы использовали для диффамации индоевропеистики). Одна из таких задач или, лучше сказать, та интенция, которая предполагала само наличие таких задач, — это стратегия не объяснения, а создания языка. Лингвист-яфетолог как бы возвращал язык его носителю, делал его общим для всего человечества.

Советское государство становится ареной языковых экспериментов с самых первых лет своего существования. Реформа письменности, создание русифицированных азбук для различных национальностей — все это было тем фоном, на котором создавалась и воспринималась языковедческая теория Марра [Smith 1998]. Еще за четверть века до революции, на заре модернизма, академик С.К. Булич, оценивая широкое распространение «лингвистической» моды на изобретение новых языков (языка волапюк, эсперанто), предполагал, что сам факт этой моды едва ли случаен. Булич писал: «Постоянное появление проектов всеобщего языка не только указывает на известные общественные потребности, но и служит, быть может, симптомом каких-то нам еще не ясных будущих эволюций общества» [Булич 1892: 397]. Общественная потребность, на которую, говоря словами Булича, указывала языковая теория Марра, — это потребность идеологии в преодолении различий. Реконструк-

ция праязыка отвечала этой потребности тем, что такой язык радикально отменял «буржуазное» различие культур, рас и языковых семей. Для современников лингвистические работы Марра и его последователей были как бы еще одним (в дополнение, например, к созданию единообразной графической системы для языков народов, не имевших письменности) воплощением языкового экспериментаторства. К середине 1930-х гг. еще не были забыты футурологические утопии, вдохновлявшие героя «Счастливой Москвы» Андрея Платонова (1936): жить в комнате, стены которой украшены портретами Ленина, Сталина и доктора Заменгофа — изобретателя языка эсперанто (пройдет еще несколько лет, и сама причастность к эсперантистскому движению будет служить достаточным поводом к обвинению в антисоветской деятельности [Линс 1999]). Но Марр шел дальше: декларация единых для всего человечества фонетических, морфологических, грамматических закономерностей языковой эволюции и редукция самой этой эволюции к комбинаторике исходных четырех «глоттогенетических» первоэлементов превращала «язык прошлого» в «язык будущего». Общий язык, реконструируемый марристами, это и новояз, и вместе с тем — вящая архаика. При таком понимании языка не случайно, что именно из лагеря марристов вышли работы, где традиционному филологическому изучению мифологии было противопоставлено изучение *мифа* вообще, мифа *как такового*. В понимании Франк-Каменецкого и Фрейденберг миф является таким же, каким является язык для Марра, — не номинацией, но дейксистом — единством мышления, труда и письма.

Свойственный Марру мессианизм, универсализм и восходящее к романтизму (в частности — к Вильгельму фон Гумбольдту) представление о языке как воплощении творческой энергии Сталину, по всей видимости, было чуждым, но предложенная им (с подачи А.С. Чикобава и В.В. Виноградова) теория языковой прагматики также была не лишена романтической и антипозитивистской интенции — обоснования внесловесных — «не-текстовых», «не-метафизических», но деятельностных аксиом социального мироустройства. Возводя русский язык к национальным (а не интернациональным, как у Марра, но не менее фантастичным — «курско-орловским» — диалектным)¹ истокам, Сталин так же, как и Марр, невольно вменял языку прошлого (в данном случае — русскому) не только дескриптивный, но и перформативный смысл. В теории Марра такая перформативность представала в иллюстративном буквализме: «ручной язык», объявлявшийся основой человечес-

¹ Похоже, что ошибка Сталина была вызвана смешением названий курско-московского диалекта и названия одного из наиболее кровопролитных сражений Второй мировой войны — Курско-орловской наступательной операции 1943 г. [Борев 1991].

кой коммуникации, фактически превращал саму эту коммуникацию в нечто вроде сурдоперевода к произносимому тексту. В «теории» Сталина человеческая коммуникация приобрела грамматическую членораздельность, но не изменила традиционного представления о языке как важнейшем критерии социального эксперимента¹.

Пропагандистские, публицистические и (в существенной мере) литературные тексты советской эпохи конструируют идеологически рекомендованную действительность, которая может быть названа реальностью (дейксисом) текста, имевшего свой смысл в структуре (квази)ритуального опыта (и потерявшего этот смысл, когда такой опыт стал неактуальным). Существование многочисленных текстов, разительно диссонировавших с советской реальностью («Жить стало лучше, жить стало веселее», «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи», «Вся страна с чувством глубокого удовлетворения...»), объясняется, с этой точки зрения, не только лицемерием властей, но и семиотическим эффектом сосуществования социальной реальности и реальности текста, или, говоря языком Гете, сосуществования Правды и Поэзии (дополняющей и усложняющей наши представления о социальной повседневности). Особенностью советской культуры следует считать при этом именно идеологическую настоятельность и типологическую повторяемость создаваемого ею на протяжении десятилетий вымышленного мира — пространства Воображения, не потерявшего, как выясняется, и сегодня своей эстетической привлекательности и психологической убедительности. Ретроспективное убеждение в том, что «у нас была великая эпоха», достаточно поддерживается самозабвенным желанием жить в мире *вечно повторяющегося текста* и (что одно и то же) в пространстве и времени ритуала — поскольку именно ритуал столь же воспроизводит мифологические события, сколь и сам предстает этими событиями [Lincoln 1989; Байбурин 1993: 201–212]. Указания (или оговорки) исследователей, занимающихся советской культурой, о том, что они имеют дело с ритуализованной и семиотически самодостаточной культурой, неслучайны при этом как с содержательной, так и с методологической сторон. Вслед за Катериной Кларк, предложившей сравнение советского романа с ритуалом, подчеркнем психолингвистическую основу функционирования ритуального дискурса в традиционных культурах: повсеместно, где существует сколь-либо обособленный «язык ритуала» (или «язык мифа»), его присутствие в социальной действительности достаточно описывается в терминах феноменологической дополнительности, а не ши-

¹ «Без языка, понятного для общества и общего для его членов, общество прекращает производство, распадается и перестает существовать как общество» [Сталин 1950: 19]. Выводы, извлеченные советскими учеными из языковедческих постулатов Сталина: [Вопросы языкознания 1952; Александров 1952].

зофренического конфликта [The Power of Discourse 2007]. Нарративы, претендующие подменить социальную реальность реальностью текста, ритуализуют всю сферу советской публичной культуры — от литературы до архитектуры и оперной музыки. Недавнее исследование Евгения Добренко хорошо показало, как те же нарративы сближают литературу, науку и пропаганду в сфере политэкономии [Добренко 2007]. Именно так в истории (и «действительности») СССР сосуществовали пустые прилавки, продовольственные очереди и роскошно изданная «Книга о вкусной и здоровой пище», повествовавшая о фантазматических яствах и пользовавшаяся феноменальным читательским спросом (три издания с 1952 по 1954 г. общим тиражом полтора миллиона экземпляров).

3.

Примеры социального двуязычия — владения речевыми альтернативами, реализуемыми в зависимости от социальной ситуации, — очевидны в случаях билингвизма, с нередкой для него иерархией языковых кодов и социальных ролей: так русские аристократы XIX в. употребляли французский язык в общении друг с другом и русский язык — в общении с крестьянами, а мужчины в Парагвае, владевшие испанским и гуарани, ухаживая за женщинами, говорили на испанском (как социально более престижном языке), а женившись, переходили на гуарани [Rubin 1962; Крысин 2000]. При использовании одного национального языка социальная вариативность языковых кодов менее очевидна, но также достаточна обычна [Labov 1966; Krysin 1988]. Применительно к социальной истории русского языка такая вариативность проявляется в складывающемся к началу XX в. представлении о сравнительном «языковом стандарте» — социальной престижности форм московского произношения (на безударное -а) по сравнению с «окающими» говорами, диалектной маргинализации северно-русского «цокания», южно-русского фрикативного «г», смягчения «т» в окончании третьего лица глаголов («поють») и т.д. [Каринский 1903; Зеленин 1913; Шахматов 1914].

Языковые различия оказываются в этой динамике непосредственно связанными со сферой обращения «символического капитала», иерархизирующего, по рассуждению Бурдьё, сферу социальных отношений: символический статус говорящего утверждается и тем, *как* он говорит, *к кому* он обращается и *какими обстоятельствами* диктуются его речевые предпочтения [Bourdieu 1991]¹. Степень взаимопонимания участников коммуникации

¹ Отталкиваясь от Бурдьё, Виктор Живов предлагает говорить о «лингвистическом капитале» [Живов 2005].

повсеместно определяется при этом совпадением используемых языковых подсистем (например — литературного языка, бытового и диалектного просторечия), но важно подчеркнуть, что даже в случае использования предельно общего «языкового стандарта» оно не исключает нарушения коммуникативного автоматизма, требующего выполнения правил т.н. речевой кооперации [Грайс 1985: 222; Гордон, Лакофф 1985: 277].

О социальных предпосылках и условиях такой кооперации можно судить по примерам, которые Л.П. Якубинский в своей знаменитой работе «О диалогической речи» (1923) назвал примерами «шаблонного взаимодействия». Таковы примеры, когда смысловые неувязки речевой коммуникации не препятствуют взаимопониманию собеседников, так как более важными для такого понимания оказываются не логико-семантические, а ситуативные и эмоциональные связи — сходство бытовой обстановки, «предсказуемость» коммуникативных ожиданий, инерция языковых (в частности — синтаксических) клише и т.д. В анекдотически утрированном виде такое «взаимопонимание» обычно изображается как разговор глухих, обменивающихся содержательно несогласуемыми репликами: «Здорово, кума. — На рынке была; — Аль ты глуха? — Купила петуха; — Прощай, кума. — Полтину дала» [Якубинский 1986: 45–50]. «Общий язык» коммуникантов предполагает в этих случаях навык дейктически формализованной коммуникации и социально-ситуативных оценок, предвосхищающих смысловую переработку речи (или текста) в зависимости от того, кто говорит, как говорят, кем являются коммуниканты по отношению друг к другу и т.д.¹

Общественно-политическая риторика первых лет советской власти дает многочисленные примеры аналогичного «взаимопонимания» ораторов и аудитории. Но более того: задачи «языковой политики», как они формулируются в конце 1920 — начале 1930-х гг., могут быть описаны как целенаправленно соотносимые с социальными и коммуникативными преимуществами «шаблонного взаимодействия». По иронии метода авторитетный вклад в формулировку таких задач сделал и сам автор понятия «шаблонных взаимодействий» — Л.П. Якубинский, ставший к тридцатым годам сторонником Н.Я. Марра и авторитетным пропагандистом особого «советского языкознания»

¹ Возможно, что одним из стимулов к идее «шаблонного взаимодействия» Якубинскому послужил опыт анализа восприятия поэтических текстов. Главными тезисами первой опубликованной работы Якубинского стали положения 1) о сосуществовании практического и стихотворного языкового мышления; 2) о «сознательном переживании звуков при стихотворном мышлении», зависимости смысла стихотворения от того, каким «психофонетическим» образом оно выражено. Так что и в этом случае содержательному взаимопониманию поэта и аудитории служит своего рода «шаблонное взаимодействие» — ситуация общих эмоций, «опережающих» смысл слов [Якубинский 1986: 163–175].

(в 1933—1936 гг. Якубинский возглавлял Ленинградский НИИ языкознания, а позднее был профессором, заведующим кафедрой и деканом в ЛГПИ им. Герцена). В цикле работ Якубинского, опубликованных на страницах журнала «Литературная учеба» и в 1932 г. собранных в соавторстве с Ан.М. Ивановым в отдельную книгу «Очерки по языку», создание «новой языковой культуры» обсуждалось с упором на проведение языковой политики («сознательное вмешательство класса в развивающийся языковой процесс, сознательное руководство этим процессом»), выражающей «общую политику пролетариата, осуществляемую в генеральной линии партии».

«Первейшим условием успеха языковой политики является распространение хотя бы элементарных знаний о языке в широких массах и хорошая теоретическая подготовка того руководящего актива, который эту политику осуществляет» [Иванов, Якубинский 1932: 38, 39]. Советские писатели и их научные наставники — специалисты в области марксистской лингвистики — призваны к тому, чтобы организовывать «писательскую практику на здоровой теоретической базе», суть которой должны составить борьба с «идеалистической школой индоевропейской лингвистики и ее порождением — формальной школой грамматики», следование учению Н.Я. Марра «о едином стадийном глотогоническом процессе, обусловленном классовой борьбой и движением развивающегося экономического базиса общества». Но, конечно, самое главное — «тщательнейшее изучение трудов классиков марксизма-ленинизма, которые дают не только совершенно достаточные положения для разработки диалектико-материалистических установок языкознания, но и целый ряд конкретных высказываний по вопросам теории языка и языковой политики» [Иванов, Якубинский 1932: 39, 40].

Дидактические наставления Якубинского и Иванова замечательны характерным для советской пропаганды логическим предвосхищением основания (*petitio principii*) — доводами к идеологии, которая в объяснительном отношении объявляется заведомо «достаточной» для социальной прагматики¹. Идеологическая правота предопределяет правоту научного дискурса, но и правоту социального действия, коль скоро они мыслятся связанными с идеологией (так, например, название газеты «Правда» автоматически делает правдой все, что в ней напечатано)². В научно-теоретическом отношении нового

¹ В другой работе Якубинского, не включенной в «Очерки по языку», заведомая ошибочность позиции Соссюра о невозможности «организованного вмешательства общества в языковой процесс» аргументируется следующим образом: «Если Соссюр прав, то к языковедению, оказывается, неприменим очень известный <...> совет Маркса философам — не только изучать, но и преобразовывать мир» [Якубинский 1986: 73].

² Ср.: [Brooks 1994].

здесь немного: любая концептуальная схема, положенная в основу рационального выбора, не может считаться строго последовательной хотя бы потому, что является предпосылочной [Davidson 1974: 5–20]¹. Но есть и отличие: в аргументации Якубинского и Иванова эпистемологические доводы, выраженные прецедентными понятиями идеологии (упоминанием о руководящей роли партии, классовый борьбе, задачах пролетариата), выступают в функции не только логической предпосылки, но и процедуры подразумеваемого «доказательства» (или лучше сказать — волевого решения), призванного манифестировать *предустановленную социальную практику* и заранее известные выводы — о руководящей роли партии, классовый борьбе и очередных задачах пролетариата. Провозглашенная авторами «новая языковая культура» в принципиальном отношении может считаться при этом *уже* существующей — просто потому, что для нее изобретено соответствующее словосочетание. Схожим образом у тех же авторов строится определение того, в чем выражается «собственно пролетарская языковая культура» (или, иначе, «пролетарская языковая идеология»):

«На основе нового классового сознания, нового способа освоения действительности, нового диалектико-материалистического мышления пролетариат как класс противопоставляет себя буржуазии в способе использования общенационального языкового материала, в обращении с этим материалом, в способе отбора из него нужных для конкретных целей фактов, в своем отношении к этим фактам и их оценке, в новом по содержанию их осмыслении, в новой их конкретизации в своей речевой практике» [Иванов, Якубинский 1932: 121].

Очевидно, что коммуникативно согласованное понимание такого определения может быть достигнуто только как результат «шаблонного взаимодействия» — навыка следования правилам речевой кооперации, предопределяющей социальный дейксис легко опознаваемыми словесными сигналами: «новое классовое сознание, новый способ освоения действительности, новое диалектико-материалистическое мышление». Особенности нового социолекта определяются не через номинативные характеристики (что именно нового в новом языке), а через функциональные и экспрессивно-оценочные: важно, кому он служит и какие задачи преследует. Отличия старого «речевого метода» от «пролетарского речевого стиля» коренятся, таким образом, не в специфике лексико-грамматического, синтаксического и фонетического словотворчества (как об этом еще можно было думать, читая Селище-

¹ См. также: [Mittelstrass 1977].

ва)¹, но в самих носителях «пролетарской психологии и идеологии»: «наиболее полное выражение пролетарского речевого стиля» надлежит искать «у крупнейших языковых работников пролетариата вообще, и притом у таких работников, которые не жили оторванно от широкой рабочей массы, но глубоко проникали, в частности, в ее речевую жизнь». Понятно и то, что «в наипервейшую очередь» пролетарский стиль надлежит искать у Ленина, который «был и остается величайшим идеологом и вождем рабочего класса вообще» и «сознательно строил и в специально языковой области», «выковал свою языковую идеологию, свой пролетарский стиль в непрерывных боях с различного сорта буржуазными и подбуржуазными идеологами в области устной и письменной публичной речи», «вел свою языковую работу не уединенно, а с пристальнейшим учетом языковых процессов, происходивших в самой рабочей массе» [Иванов, Якубинский 1932: 122].

В целом содержательная сторона текстов, функционирующих в границах «пролетарской языковой идеологии», оказывается в книге Якубинского и Иванова непосредственно соотносимой не с тем, каковы эти тексты, а с тем, кому они идеологически вменяются: «передовым языковым работникам», Ленину, Сталину или, например, Троцкому, ко времени издания книги бывшему уже в партийной опале и потому очевидно демонстрировавшему ошибочность своих высказываний о языке [Иванов, Якубинский 1932: 175–179]. Смысл текста полагается содержащимся не в нем самом, но в сопутствующей ему социальной ситуации, статусных ролях коммуникантов и т.д., — говоря иначе: *вне* самого текста.

4.

Подконтрольность идеологического и, в том числе, научного дискурсов обнаруживает в советской культуре парадокс, вполне выразившийся в известной тавтологизации опознаваемой «советской» силлогистики («Учение Маркса всесильно потому, что оно верно», «Лозунги партии научны» и т.п.) и вместе с тем в ее содержательной неэквивалентности. Сказанное обязывает к пониманию не только того, что сказано, но и того, что предопределяет его правоту или неправоту. Риторическим показателем такой «неэквивалентной тавтологии» может служить излюбленная Лениным диафора — фигура риторики, призванная к внетекстовому разуподоблению синонимических высказываний, заведомо предвосхищающему правоту оратора («Есть компромиссы и компромиссы») [Хазагеров 2002].

¹ Применительно к фонологии наблюдения Селищева можно дополнить шуточным, но правдоподобным сообщением М.Л. Гаспарова: «Брат фольклориста [К.В.] Чистова пошел по партийной линии, и у братьев раздвоились диалекты: партийный заговорил на фрикативное *h*» [Гаспаров 2000: 234].

Взывая к идеологической прозрачности, партийные лидеры 1920—1930-х гг. неслучайно апеллируют к политической грамотности аудитории. Наделенный такой грамотностью советский человек изначально понимает то, чего не разумеют буржуазные умники. К тем же доводам прибегают ученые авторитеты, и в их ряду — создатель революционной «яфетической теории» Н.Я. Марр: «Народный комиссар просвещения т. Луначарский правильно указал на всесоюзном съезде работников просвещения легкость, с которой крестьянин такой мало культурной страны, как Россия, понимает самые передовые советские идеи, представляющие непреодолимые трудности восприятию г. Пуанкаре, просвещенного ума наиболее культурной страны. То же мы видим и в нашей научной области [в лингвистике. — К.Б.]» [Марр 1933: 194].

В 1926 г., отвечая на анкету журнала «Молодая гвардия», такие же комплименты расточал молодым читателям будущий академик ВАСХНИЛ, а тогда профессор, заведующий кафедрой биологии в Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова и автор многочисленных работ по проблемам старости и омоложения Б.М. Завадовский: «Наша молодежь с полным правом может похвастать исключительной зрелостью своей в понимании и знании общественно-исторической жизни, и здесь она, владея марксистским анализом, заткнет за пояс не только сверстника, но и взрослого представителя буржуазных государств» [Молодая гвардия 1926: 103].

С оглядкой на исследования в области лингвистической прагматики и неориторики использование марксистского социолекта в содержательном отношении в наибольшей степени напоминает в этих случаях о приемах языковой и моральной демагогии, когда воздействие на слушателя достигается не прямым, но косвенным образом — отсылками к морально-нравственным, этическим или идеологическим пресуппозициям, наделяющим речь заведомой аксиоматичностью и эмоциональной убедительностью [Николаева 1988; Федосюк 1992; Булыгина, Шмелев 1997; Шарифуллин 1997; Гусейнов 1995]. В отличие от полных силлогизмов демагогические умозаключения, как правило, представляют собой энтимемы — «неполные» суждения, опирающиеся на пропуски «само собой разумеющихся» посылок, речевые импликатуры, тавтологизирующие отождествления, метафорическую амплификацию и т.д. Одним из наиболее характерных индикаторов языковой демагогии служит отсылка к реальности и *argumenta ab evidentibus causis*, «доводы от очевидного» — злоупотребление вводными конструкциями, подразумевающими «визуальную» солидарность оратора и аудитории, «очевидность» того, что не требует доказательств (в вы-

шеприведенной цитате такова, например, «легкость», с которой советский крестьянин и советский ученый понимают то, чего не понимают на буржуазном Западе).

Еще одна примета языковой демагогии — содержательная подмена темы разговора (например: перевод ученых споров в плоскость идеологии или обсуждение тех или иных проблем в нерелевантном для них контексте)¹, а также «переход на личности» (*argumenta ad hominem*) — оскорбление (иногда с латентным или выраженным запугиванием: «*argumentum ad baculo*», «доводами от палки») оппонента с целью избежать обсуждения предмета по его существу (*ad rem*) [Уолтон 2002].

Тактики языкового манипулирования закономерно описываются лингвистами в терминах языковой агрессии, языкового насилия или языковой экспансии — многообразие собственно риторических приемов, усиливающих доказательность речи в этих случаях, рассчитано не на обсуждение и логику доказательств, но на интериоризацию сказанного в качестве неизбежного или должного.

5.

Особенности языковой демагогии в советской культуре не в последнюю очередь объясняются из предшествующей риторической традиции — традиции преобладающего освоения и адаптации западно-европейской риторики. Ораторская культура XVIII—XIX вв. формируется в России под преимущественным влиянием церковной гомилетики и эпидейктического красноречия, а не традиций совещательного и судебного красноречия [Богданов 2006: 68–104]. Важно учитывать также известную неразработанность в русской культуре церемониального красноречия. Властные практики социального взаимодействия репрезентируются в данном случае с преимущественным акцентом на их пространственную (проксемическую) и поведенческую (кинетиическую), чем собственно вербальную организацию. Ценные наблюдения Дмитрия Захарьина, сделанные им на обширном материале практик политической репрезентации в русской и западно-европейских культурах XVI—XIX вв., вполне позволяют оценить силу, преемственность и инерцию невербальных стереотипов социальной коммуникации, чтобы убедиться в недостаточности ее «логоцентристского» изучения [Zakharine 2005]².

¹ В социальной психологии такие приемы получили обобщенное название «риторики приспособления» (*rhetoric of accommodation*): [Gross 1994: 3–23]. Об истории понятия: [Blümer 1992: 309–313]. Хороший пример такой риторики дан в рассказе В. Шукшина «Срезал», герой которого «побеждает» в споре своего оппонента тем, что постоянно меняет тему разговора и при этом оскорбительно уличает оппонента в невежестве.

² См. также: [Захарьин 2003].

Отсутствие устойчивых традиций гражданской риторики выразилось в истории русской культуры в преобладающем влиянии таких риторических жанров, которые, по удачной формулировке Г.Г. Хазагерова, можно назвать жанрами консолидирующими: это жанры «обращенные к единомышленникам и не предполагающие мгновенной реакции альтернативного типа». Противовесом к таким жанрам выступают жанры *конфронтующие*, т.е. «рассчитанные на переубеждение противников или убеждение нейтральных».

Именно с этим обстоятельством, как предполагает Хазагеров, связана сравнительная неразработанность в славянской традиции учения о фигурах, но зато свойственное русским ораторам внимание к риторическим тропам [Хазагеров 1994: 65, 66]. Особенности фигуративного дискурса, делающего упор на консолидации аудитории, могут быть описаны в данном случае как *монологическое* предвосхищение коммуникативного конфликта. Заведомая установка «на согласие» предотвращает ответную конфронтацию и игнорирует вероятные возражения декларируемым единодушием аудитории. Конфронтующие риторические жанры, напротив, эксплицируют возможность спора и подразумевают возможность установления компромисса путем диалога и коммуникативных взаимоотношений, позволяющих подытожить и согласовать мнение разных сторон.

Говоря попросту, консолидирующие риторические жанры в большей степени диктуются стремлением выдавать желаемое за действительное, в то время как конфронтующие жанры указывают в той же репрезентации не столько на желаемое, сколько на необходимое и возможное. Не удивительно поэтому, что тропы и фигуры, которые выделяются в классификациях демагогической риторики, преимущественно связаны с механизмами внерационального воздействия — эффектами метафоризации, использованием инвектив и оценочных суждений, эзотеризацией специальной (прежде всего — идеологической и политической) лексики и т.д.

Важно подчеркнуть вместе с тем, что использование приемов языковой демагогии не обязательно (хотя и часто) связано с сознательным обманом аудитории. Современное истолкование понятия «демагогия» (как и близкого к нему понятия «популизм») значительно отошло от своего первоначального значения, имевшего в виду не более чем искусную речь, обращенную к народу с целью его убеждения (*δημαγωγός* — буквально «предводитель народа»). Такое убеждение, по своему риторическому оформлению, может быть разным: античные теоретики риторики соотносили в этих случаях логические, формально-дискурсивные приемы организации речи (*inventio* — «изобрете-

ние», *dispositio* — «расположение») и приемы эмоционального воздействия (*elocutio* — «изложение», *memoria* — «припоминание», *pronuntiatio/actio* — «произнесение/жестикуляция, мимика»), оправдывавшие — в зависимости от характера их использования — противоречивые (если не противоположные) характеристики самой риторики. По определению, возводимому античной традицией к сицилийскому оратору Кораксу (VI в. до н.э.), целью оратора является «не раскрытие истины, но убедительность при помощи вероятного (*εἰκός*)». Достижение такой цели, по Платону, делает риторику не более чем «искусством обмана», «словесной ловкостью», софистическим умением «великое делать малым, малое великим, ложное истинным, истинное ложным».

Аристотель ограничил риторику позитивным намерением отыскивать наилучшие способы аргументации применительно к обстоятельствам и природе конкретного дела. Понятие «демагогия» при этом в определенном смысле спасло репутацию риторики, переняв на себя негативную оценку таких риторических приемов, которые заведомо рассчитаны не на коллективный разум, здравый смысл и просвещенное знание, но на эмоции, предрассудки и инстинкты толпы. Многовековая традиция осуждения таких предрассудков и инстинктов не меняет вместе с тем главного — риторического и (что немаловажно) *демократического происхождения* навыков демагогического убеждения. Аристотель, осуждавший демагогию как ведущую к тирании неслучайно оговаривался, что сами демагоги получают власть демократическим путем, поскольку публичная возможность самой демагогии предопределена наличием института демократии — возможностью публичного обращения к массе от лица самой массы.

Демократическая «защита от демагогии» оказывается в этих случаях вполне симптоматичной: демагогия «демонологизируется» при возрастающей роли институтов защиты личности и меньшинств. В авторитарных обществах такая защита обставляется иначе: как пропагандистский «запрет» на демагогию как таковую [Алтунян 1999]. Советская идеология декларировала именно последний вариант «защиты» общества от демагогии (и соответственно достигла торжества монологической демагогии), последовательно поддерживая представление о Советской власти как безальтернативной противнице не только демагогии, но и риторики вообще.

Статья о риторике в «Литературной энциклопедии» 1935 г., приводя характерные примеры осуждения риторики в античности, подытоживала их тезисом, опирающимся на высказывания Ленина: «Р[иторика] фетишизирует слово, наделяя его

собственным, в конечном счете мистическим содержанием и имманентной „силой“. Пролетариат не нуждается в средствах обмана, не „изобретает“ истин и не фетишизирует форм выражения. „Нет ничего противнее духу марксизма, как фраза“ (Ленин)» [Литературная энциклопедия 1935]. Преодоление наследия буржуазной риторики рисуется в той же энциклопедии как «борьба против „прятанья“, скрыванья, „затушевывания“ действительности, против иллюзорности, искажения реальных фактов и отношений посредством риторической „ловкости“: „патетических газдов“, двусмысленности, абстрактности, восклицаний, лести, клеветы, запугиваний, уговариваний, стилиевой мимикрии и т.д. и т.п.» [Литературная энциклопедия 1935]¹.

6.

Различия советской культуры, условно говоря, 1920–1930 гг. и культуры 1940–1950 гг. («культура 1» и «культура 2», по В. Паперно) не меняют при этом «прагмацентристского» целесообразия советского социолекта. И в «культуре 1», и в «культуре 2» торжествует риторика, которая в наибольшей степени напоминает о риторическом приеме *адинатон*, или «невозможное» (*impossibile/adynaton/ἀδύνατον*) — доказательной достаточности того, что отсутствует. В «Поэтике» Аристотеля адинатон описывается как создание иллюзорной вероятности путем энigmatической речи («Невозможное, являющееся вероятным, имеет преимущество перед возможным, которое неправдоподобно») (Poet. 24: 1458a26f. См. также 24: 1460a26), у Псевдо-Лонгина — как содержательное расширение поэтического высказывания (De subl. 38, 5). В поздних риториках тот же прием сближался с понятиями парадокса, перифразы и гиперболы, указывающими при всех своих отличиях на нечто, что осложняет (или опровергает) известное апелляцией не к действительному, но к воображаемому и желаемому [Manzo 1988].

Особенности такой риторики в советской культуре связаны с парадоксальным, на первый взгляд, требованием дискурсивной простоты, декларативно вменяемой советской идеологии. Начиная с середины 1920-х гг. идеологические рекомендации, адресуемые партийным ораторам, но также литераторам и ученым-гуманитариям, непременно касаются языковой «простоты» и «ясности». Образцом достохвальных качеств призваны, в частности, служить тексты Ленина. Филологические восторги на этот счет были суммированы уже в 1924 г. в 1 номере «ЛЕФ»а — в статьях Б. Эйхенбаума, Л. Якубинского, Ю. Тыня-

¹ Подробнее: [Гофман 1932].

нова, Б. Казанского, Б. Томашевского. К середине 1930-х гг. число работ, посвященных языку Ленина, растет [Крученных 1925; Финкель 1925; Вур 1931; Рыт 1936], но сам объект изучения начинает разуподобляться. Риторика Ленина сохраняет репутацию образцовой (в «романе-комплексе» Мариэтты Шагинян «Кик» о языке Ленина говорится даже: «Такого языка вы не найдете ни у кого больше <...> Речь Ленина это искусство будущего» [Шагинян 1930: 201]) и вместе с тем обнаруживает живое воплощение в языке Сталина.

В определенном смысле «теоретическая» основа для такой репутации была подготовлена самим Сталиным. В 1924 г. в речи «О Ленине» Сталин педантично охарактеризовал «некоторые особенности Ленина как человека и деятеля». Таких особенностей восемь: простота, скромность, логика, боевитость, оптимистичность, партийная принципиальность, народность и гениальность [Сталин 1924]. В 1935 г. речь Сталина будет издана в составе однотомника «Ленин, Сталин», утвердившего образ Сталина-человека и Сталина-оратора как продолжателя дела Ленина, «завещавшего», помимо прочего, Сталину свои ораторские качества [Ленин, Сталин 1935]. Представление о Сталине-ораторе поддерживается отныне с опорой на созданный *самим же Сталиным* образ Ленина как основоположника советской топики и риторики [Ефимов 1950]¹.

Призывы Ленина (в заметке «Об очистке русского языка») «уметь говорить просто и ясно, доступным массе языком, отбросив решительно прочь тяжелую артиллерию мудреных терминов, иностранных слов, заученных, готовых, но непонятных еще массе» [Ленин XIV: 92] воплощается в победоносном торжестве советского этоса, пафоса и логоса в речи Сталина. Девятый том «Литературной энциклопедии» (1935), приводя сталинскую характеристику ораторской речи Ленина («непреодолимая сила логики <...>, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и потом берет ее в плен, как говорят, без остатка»), объявлял речь самого Сталина образцом «той же предельной логической последовательности, аргументированности, ясности и простоты» [Литературная энциклопедия 1935].

К концу 1930-х гг. авторизованные Сталиным речевые правила обретают силу непосредственно педагогических рекомендаций. В учебнике для школьников 4 класса «Родная речь» Сталин изображен не только как вождь советского народа, соратник Ленина, герой революции и гражданской войны, но и как педагог, требующий от собеседников «короткого, прямого и

¹ О нормативных основах советской риторики: [Романенко 2003].

четкого ответа». Замечательно и то, что собеседники Сталина, сколь бы выдающимися они ни были, в таких наставлениях определенно нуждаются: учебник доверительно сообщал школьнику, что «обычно тот, кто в первый раз бывал [у Сталина], долго не решался ответить на заданный вопрос, старался хорошенько обдумать ответ, чтобы не попасть впросак», вместо этого же (у читателей-школьников здесь, конечно, был простор для сравнений) «мялся, смотрел в окно, на потолок». Таким собеседникам Сталин советовал: «Вы лучше прямо смотрите и говорите, что думаете. Это единственное, что от вас требуется» [Родная речь 1956: 232].

И взрослые, и дети равны перед обязательствами грамматической ясности, речевой простоты и коммуникативной прозрачности. «Простота» языка самого Сталина оправдывает при этом кажущуюся «грубость», но зато демонстрирует «прямоту» и «искренность», чуждые идеологической двусмысленности и социальной безответственности. Главное для советского человека — не уподобиться в своей речи тем, про кого, говоря словами того же Сталина, «не скажешь, кто он такой, то ли он хорош, то ли он плох, то ли мужественен, то ли трусоват, то ли он за народ до конца, то ли он за врагов народа» [Речь т. Сталина 1938].

Политический лексикон советского общества сталинской эпохи в целом может быть описан как лексикон декларативно «упрощенного» и нарочито брутального словоупотребления. Начиная с речей Ленина язык опознаваемо «советской» идеологии утверждается как язык инвективного пафоса и брани, но 1930-е гг. могут считаться апофеозом стиля, не только оправдывавшего свирепые оскорбления по адресу многочисленных внешних и внутренних врагов советского народа («шпионские рыла», «фашистско-шпионская мразь», «подлецы», «волки и псы буржуазии», «отродье», «оголтелые авантюристы», «гносные предатели», «клопы», «прохвосты», «скверна» и т.д., и т.п.)¹, но и подражавшего «филологическое» объяснение самих оскорблений. Авторитеты в этих случаях обнаруживаются без особого труда. Одним из них служит Анри Барбюс, в мемуарных материалах о котором советские критики второй половины 1930-х гг. охотно приводят рассуждения покойного писателя-сталиниста, отстаивавшего в переписке со своими издателями право «пользоваться грубыми словами, ибо этого требует правда» [Анисимов 1937].

Пропагандистские декларации правды и простоты придают самим этим понятиям в контексте советской культуры почти синонимический смысл. Вложенная Максимом Горьким в уста

¹ Примеры на материале одной статьи в газете «Правда» (13 июня 1937 г.) «Шпионам и изменникам Родины нет и не будет пощады».

сормовского рабочего характеристика Ленина «Прост как правда» вошла в идеологический лексикон на правах фольклорной паремии [Горький 1933: 196]. Персонализованная Лениным синонимия простоты и правды не допускала сомнений в ее прескриптивном смысле, но ее дидактический подтекст не определялся только этим. Приведенный Горьким афоризм удачно воспроизвел идею, имевшую в России длительную традицию церковноучительного и литературного пафоса¹. В православных текстах подобная синонимия соответствовала передаче греческого прилагательного ὀρθός («прямой, единственно верный, настоящий») словами «правый» и «простой» [Фасмер 1971: 352, 380]. Синоним «православия» — «простославие» [Словарь русского языка 1992: 236]. В Библейском тексте Господь именуется «Богом правды» (Ис 30,18); «Бог есть Истина» (Ин 14,6. См. русские поговорки, приводимые в словаре В.И. Даля: «Не в силе Бог, а в правде», «Бог правду видит», «Бог в правде помогает»). А в церковнославянском переводе «Богословия» Иоанна Дамаскина: Бог — «прост» («Яко же есть Бъ простыи») [Срезневский 1989: 1582]. Истинный христианин «в простости ходи перед Богом» (Пандекты Никона Черногорца XII в.) [Колесов 2004: 291], так как простота означает также и нелукавство, искренность, честность (ἄλλαστος, ἀλλότης) [Михайлов 1912: 130]. Вослед христианским наставлениям дидактическое сближение правды и простоты последовательно отстаивал Л.Н. Толстой, одним из хрестоматийных афоризмов которого стала фраза из «Войны и мира»: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» [Толстой 1933: 165].

В 1920–1930-е гг. призывы к простоте становятся одним из значимых лозунгов культурного строительства [Козлова 1990]. Овладение политической грамотностью напрямую связывается с общедоступностью языка, письма, орфографии («оставленной русскому пролетарию его классовыми противниками» и отнимающей «у трудящихся миллиарды часов на бессмысленную работу по правописанию» [Мальцев 1930: 89]). Пролетарская правда противопоставляется буржуазной лжи по критерию общепонятности идеологических истин — революционная культура 1920-х гг. и культура 1940–1950-х в этом отношении остаются принципиально схожими. «Культурное упрощение», создание «литературного пролетарского языка» и «рационализации устной речи как политической, так и производственно-технической» в большей степени определяют публицистический пафос 1920–1930-х гг. [Левидов 1923; Г[ус]

¹ На что странным образом не обращают внимания авторы обзорных работ по семантике понятий «правда» и «истина» в русском языке, см., напр.: [Kegler 1975; Арутюнова 1995; Степанов 1997: 318–331; Вежбица 2005: 472–499].

1931], но содержательно не меняются десятилетиями, воспроизводя предсказуемые филиппики по адресу тех, кто стремится «усложнить» надлежащую простоту (а значит — и правду) советского социолекта.

Реализация искомой простоты воплощается при этом, однако, не столько в текстах, сколько в сфере Воображаемого. Величие «простого как правда» Ленина объясняет, по рассуждению Г.М. Кржижановского, почему «великий правдоискатель — российский народ — и великий правдолюбец Ленин так быстро нашли друг друга и так крепко сроднились» [Кржижановский 1968: 15].

Словосочетания «ленинская правда» и «ленинская простота» станут со временем узнаваемыми топосами советской культуры — «Ленинской правдой Заря Коммунизма нам засияла во мгле» (С. Михалков), «Служит юность трудовая правде ленинской твоей» (Л. Ошанин) [Лейся песня 1954: 9, 11], «Наше безотказное оружие — ленинская немеркнущая правда» (М. Шолохов) [Горбачевич, Хабло 1979: 342] — но не замедлят быть продублированными в текстах о Сталине. Сталинская простота, как и простота Ленина, также синонимична правде, но также не сводится к простоте и правде сталинских текстов. Они суть он сам. В этом смысле дискурсивный эталон советской культуры обнаруживает себя не в дидактическом опыте текста (письма и голоса), но, скорее, в его субъектности и функциональности. Приведенный выше пример из учебника «Родная речь» кажется здесь вполне иллюстративным: Сталин ждет от отвечающих не столько ответа, сколько (пред)определенного поведения, — большего, говоря словами того же текста, от них не требуется.

7.

В дихотомии «слова» и «дела» или (что в данном случае — одно и то же) «слова и тела» особенности языковой демагогии советской эпохи определяются настоятельностью не диалога, но ответного «телесного действия». В принципе такие действия вполне ритуальны: в контексте социо- и психолингвистических исследований методов т.н. «достижения послушания» (compliance-gaining studies) изучение языковой демагогии неслучайно ведется с опорой на понятия поведенческого и проксемического плана («территория», «дистанция», «инициатива» и др.), указывающие на акциональные, а не вербальные приоритеты социального взаимодействия [Доценко 1997; Иссерс 1999: 213–246]. Дискурсивная «простота» в этих случаях соответствует прескриптивной простоте социальной и вместе с тем ритуальной действительности, должной развести «своих» и «чужих»,

революционное и контрреволюционное, советское и антисоветское. Поведение здесь не только важнее языкового содержания (ведь слова способны не только выражать, но и скрывать правду), но в определенном смысле независимо от него. Более важными в этих случаях оказываются внеязыковые признаки дискурсивной убедительности — приемы, описывавшиеся в старых риториках в терминах *pronuntiatio* и *actio*, и, кроме того, сама эффективность высказываний, создающих у слушателей эффект аргументативной достаточности сказанного в силу его (умо)зрительной, образной представимости (в классической риторике такие тексты объединяются понятием «гипотипосис» (*ὑποτύπωσις*) или *illustratio*)¹. Убеждение Маклюэна в том, что коммуникативная содержательность (или, в терминологии Лумана, успешность коммуникации) достигается ее медиальной избирательностью и медиальным варьированием («*The medium is the message*») применительно к функциональным особенностям советского социолекта кажется оправданным уже в том отношении, что эффективность языка в данном случае принципиально связана со сферой его медиальной и невербальной убедительности — эффектом, который хорошо передается немецким понятием «*Evidenzkraft*» — «силой очевидности».

Особого внимания при этом заслуживает базовое для теории коммуникации противопоставление устных и письменных форм языкового общения. Сегодня можно считать установленным, что ценностные характеристики устных и письменных средств передачи информации широко варьируют в разных культурах, разных сообществах и социальных стратах. Без культурной и социальной детализации таких вариаций настаивать на сколь-либо общем для русской культуры ценностном доминировании устных средств передачи и хранения информации, как это иногда утверждается, нельзя.

Вместе с тем можно предположить, что в разных культурах ценностный статус медиальных средств *в типологически схожих социальных ситуациях* не совпадает. Одним из таких примеров может служить, как кажется, общепринятая на Руси еще в XVII в. практика устного ведения дипломатических переговоров, сильно отличающаяся от западно-европейской традиции обмена дипломатическими грамотами. В отличие от европейских посланников, русские послы изустно излагали порученные им «речи». Голос может считаться в этих случаях оппонирующим письму как отчуждающему письменную передачу информации от ее адресата и адресанта и, в свою очередь, сохраняю-

¹ Quint. *Institutio oratoria*. VI. 2. 32; VIII. 3. 61–62. См., напр., в первой русскоязычной «Риторике», приписываемой Макарию: «Ипотипосис есть егда вещь так сказуется, чтоб виделася, якоже очием поддана» [Die Makarij-Rhetorik 1980: 159].

щим доверительность и интимность личностной коммуникации. Дипломатический обычай «ссылаться речами» не был при этом, вероятно, безразличным к идеологически доминировавшим представлениям о ценностных нормативах самой информации, обнаруживающей особый смысл и суггестивную силу в зависимости от способа ее трансмиссии. Деловая переписка, как показывают многочисленные челобитные того же времени, также, вероятно, неслучайно демонстрирует фиксацию приемов именно устного обращения — в стилистическом отношении такие тексты легче произносятся, чем прочитываются, за ними слышатся не только рациональные доводы, но и эмоции их авторов [Люцидарская 2002].

В советской культуре роль устной коммуникации также не стоит, вероятно, сводить к сколь-либо однозначным оценочным характеристикам, но нельзя не считаться и с тем, что упование на суггестивную силу устного слова и очевидности стоящего за ним содержания поддерживается средствами коммунистической пропаганды начиная уже с первых послереволюционных лет. История этого вопроса увела бы нас далеко — к организации Луначарским «Института живого слова», широкой популяризации радио и кино, песенным и зрелищным формам коллективной агитации т.д. [Горяева 2000; Gorham 2003; Мурашов 2006; Вассена 2007]. В данном случае важен эффект самих этих мероприятий, способствовавших закреплению в общественном сознании сравнительно устойчивых представлений об идеологически рекомендованных медиальных средствах, соответствующих предельно доверительной, правдивой и социально действенной информации.

Высказывания в пользу того, что именно устное слово обладает особой разоблачительной силой, тиражируются экстенсивным образом: партийные идеологи и вторящие им деятели советской литературы нередко противопоставляют содержательную амбивалентность письменных текстов искренности устной речи. Письменный текст способен ввести читателя в заблуждение — изустно это сделать сложнее. Устному слову вменяется при этом не только изобличительная, но и изобличающая сила. Ограничимся здесь одним примером: в сборнике рассказов лауреатов Сталинской премии 1950 г. один из его авторов — старший мастер станкостроительного завода «Красный пролетарий» Иван Тимофеевич Белов — рассказывает о своей командировке в 1938 г. в США в составе делегации по приемке закупленного заводского оборудования. Оказавшись на территории завода «Мичиган-тул», Белов и другие советские товарищи получили от администрации специальные значки, которые им рекомендовалось носить в петлице пиджака и которые, как он думал, выпущены в «ознаменование какого-нибудь важного

события» и вручены им для того, «чтобы подчеркнуть <...> уважение к советским гостям». Но не тут-то было: такое предположение, как спешит сознаться Белов, «оказалось ошибочным и наивным»: «Вскоре нам стало известно, что <...> рабочие, увидав этот „опознавательный“ знак, не должны были подходить и разговаривать с нами» [Нас вырастил Сталин 1950: 115–116]. На каком языке стал бы общаться мемуарист с американскими рабочими, не ясно (коль скоро он не понимает, что за значок он носит в петлице своего пиджака), но он, конечно, уверен, что администрацию завода оправданно страшит сила устного слова, которое могли бы адресовать американским пролетариям их советские собратья. Американско-европейской «дипломатии грамот» и в этом случае противостоит русский обычай «ссылаться речами».

В предельном выражении классовое взаимопонимание достигается без слов — для этого достаточно непосредственного общения. Атрибутами такого общения и являются самодостаточная устность и самодостаточная же визуальная очевидность. Социально действенная коммуникация способна выразить себя без лишних слов — так, как это происходит, например, в заключительных кадрах кинофильма Г. Александрова «Цирк» (1936), где самозабвенно шагающие в физкультурном параде герои — Иван Мартынов (Сергей Столяров) и новопринятая в советский рай Марион Диксон (Любовь Орлова) — обмениваются репликами, которые не требуют дополнительных пояснений: «Теперь понимаешь?» — спрашивает Мартынов ошарашенную спутницу. «Теперь понимаю!» — отвечает ему Мэри.

Язык такого понимания — это, конечно, не язык слов, а язык сердца, навык политически грамотного чутья, дарующего советскому человеку не только способность адекватной ориентации, но и опыт своеобразного предвидения и адекватного (умо)зрения. В упоминавшемся выше сборнике рассказов стахановцев-лауретов Сталинской премии примером такого рода может служить трудовое достижение ковроткачихи из Азербайджана Соны Ахмедовой, соткавшей за невиданно короткое время ковер с изображением Сталина. Портрет вождя выполнен Ахмедовой так, что создает впечатление сделанного с натурой. Заверения мастерицы, что она не видела Сталина и даже никогда не была в Москве, удивляют зрителей: «Но на этом ковре он выглядит, как в жизни. Смотри, как он ласково улыбается мне, тебе, всем. Нет, дочка, ты, наверно, видела нашего дорогого отца!». Но секрет чудесного натурализма раскрывается просто: «У меня, — признается Ахметова, — образ Сталина всегда перед глазами, я его в сердце ношу» [Нас вырастил Сталин 1950: 81–82]. Понятно, что перед таким аргументом отсту-

пают все сомнения: сердце видит отчетливее, чем глаз наблюдателя.

Роль шаблона в пропагандистских текстах советского времени оказывается на фоне этих и подобных им примеров достаточно нетривиальной. С одной стороны, как отмечали советские лингвисты, «монолитность советского общества определяет сходство материализации конструктивного принципа во всех наших газетах: центральные, местные, отраслевые и иные издания сближаются не только единой политической линией, общностью значительной части содержания, но и одинаковыми языковыми, изооформительскими и иными устремлениями. Сдвиги в принятых формах материализации связываются тут не с отдельными газетами, а с изменением „культурного контекста“ <...> Различия между одной и той же газетой разных периодов оказываются существеннее, чем между разными газетами одного и того же периода» [Костомаров 1971: 251]. С другой стороны, содержательные особенности таких различий никоим образом не ставят под сомнение оправданность их содержательного присутствия в идеологической практике, поскольку представление о самой этой практике, хотя и складывается за счет текстов, референциально соотносится с опытом ритуально-коллективных (т.е. акциональных, по своему преимуществу, а не вербальных) действий и поступков.

Именно этими обстоятельствами можно объяснить, казалось бы, парадоксальную «забывчивость» советского общества в отношении текстов, которые были положены в идеологический фундамент самого этого общества — к статьям и книгам Плеханова, Троцкого, Бухарина и многих десятков других теоретиков социализма. Осуждение авторов оказалось достаточным для забвения написанных ими текстов: посмертное осуждение самого Сталина в 1956 г. докажет это в очередной раз. Во всех этих случаях мы сталкиваемся с любопытной закономерностью: начетнически апеллируя к текстам классиков марксизма-ленинизма, советская идеология оказывается в исторической ретроспективе идеологией, которая — вопреки своим декларациям — в большей степени зависела не от слов, а от коллективных практик и (умо)зрительных атрибутов социального самоопознания. Порядок ритуала в этих случаях важнее, чем правильность сопутствующих ему высказываний (аналогией такого поведения может служить, между прочим, молитвенная практика: считать себя верующим важнее, чем дословно помнить молитвы). Религиовед и этнограф были бы в данном случае правы, если бы сказали, что ничего нового в самой этой ситуации нет: есть общества, где нет священных текстов, но нет та-

ких обществ, где нет ритуалов, фетишей и коллективной традиции «образного мышления».

Библиография

- Адмони В.Г.* Система форм речевого высказывания. СПб., 1994.
- Александров Г.Ф.* Труды И.В. Сталина о языкознании и вопросы исторического материализма. М., 1952.
- Алпатов В.М.* История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991.
- Алпатов В.М.* Марр, марризм и сталинизм // *Философские исследования*. 1993. № 4. С. 287–288.
- Алтунян А.* Кто боится демагогов? или Апология демагогии // *Русский журнал*. 1999.03.18 <<http://old.russ.ru/politics/articles/99-03-18/altun.htm>>.
- Анисимов И.* О том, как был написан «Огонь» // *Литературная газета*. 1937. 30 июля.
- Арутюнова Н.Д.* Истина и этика // *Логический анализ языка. Истина и истинность в культуре и языке*. М., 1995. С. 7–23.
- Астахова А.М.* Значение трудов И.В. Сталина по вопросам языкознания для развития науки о народном поэтическом творчестве // *Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка*. 1951. Т. X. С. 533–546.
- Байбурин А.К.* Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993.
- Богданов К.А.* Абракадабра как заговорная модель: пределы структурирования // *Русский фольклор*. СПб., 1995. С. 3–25.
- Богданов К.А.* О крокодилах в России. М., 2006.
- Богданов К.А.* Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001.
- Борев Ю.Б.* Сталиниада: Мемуары по чужим воспоминаниям с историческими притчами и размышлениями автора. М., 1991.
- Булич С.* Всемирный или международный язык // *Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон*. СПб., 1892. Т. 7. С. 171–220.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Приемы языковой демагогии. Апелляция к реальности как демагогический прием // *Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики)*. М., 1997. С. 461–477.
- Вайскопф М.* Писатель Сталин. М., 2001.
- Вассена Р.* К реконструкции истории деятельности Института живого слова (1918–1924) // *Новое литературное обозрение*. 2007. № 86. С. 79–95.
- Вежбицка А.* Русские культурные скрипты и их отражение в языке // *Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005. С. 472–499.
- Виноградов В.В.* Значение работ И.В. Сталина для развития советского языкознания // *Власов П.Н.* Лингво-когнитивные параметры тоталитарного дискурса (на материале советских политических

- текстов). Курсовая работа. Самара, 2002 (машинопись, электр. версия: <scriptum.gramota.ru/linguo.doc>).
- Вопросы языкознания в свете трудов И.В. Сталина. М., 1952.
- Вур Н. Советское строительство и язык // Советское строительство. 1931. № 11. С. 10–22.
- Г[ус] М. Принципы рационализации делового языка // Революция и язык. 1931. № 1. С. 40–49.
- Гаспаров М.Л. Записки и выписки. М., 2000.
- Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998.
- Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л., 1979.
- Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты речевого общения // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16. С. 276–302.
- Горький М. Собрание сочинений. М.; Л., 1933. Т. XXI.
- Горяева Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920–1930-х годах. М., 2000.
- Гофман В. Слово оратора (Риторика и политика). Л., 1932.
- Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1985. Вып. 16. С. 217–238.
- Гусейнов А.А. Моральная демагогия как форма апологии насилия // Вопросы философии. 1995. № 5. С. 5–11.
- Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007.
- Добренко Е. Рец. на: Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2001 // *Revue des études slaves*. 2001. Vol. 73. No. 4. P. 769–777.
- Доценко Е.Л. Психология манипуляции: Феномены, механизм и защита. М., 1997.
- Дю Буа Д.В. Самоочевидность и ритуальная речь // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб., 1998. Вып. 12. С. 198–222.
- Ермакова О.П. Тоталитарное и посттоталитарное общество в семантике слов // Русский язык. *Najnowsze dzieje języków słowiańskich* / Red. E. Śirjaev. Opole, 1997. С. 121–165.
- Ефимов А.И. О языке пропагандиста. М., 1950.
- Живов В.М. Язык и революция. Размышления над старой книгой А.М. Селищева // Отечественные записки. 2005. № 2 (23) <<http://www.strana-oz.ru>>.
- Журавлев А.П. Символическое значение языкового знака // Речевое воздействие. М., 1972.
- Захарьин Д. Путин и Петр Первый. Стереотипы русского политического поведения в системе многолокальной коммуникации // *Wiener Slawistischer Almanach*. 2003. Bd. 49. S. 93–114.
- Зеленин Д.К. Великорусские говоры. Город, 1913.
- Земская Е.А. Новояз, newspeak, powotowa... Что дальше? // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). М., 1996. С. 121–165.
- Земцов И. Советский политический язык. Л., 1985.
- Иванов Ан.М., Якубинский Л.П. Очерки по языку. Для работников литературы и для самообразования. Л.; М., 1932.

- Илизаров Б.С.* Сталин. Штрихи к портрету на фоне его библиотеки и архива // Новая и новейшая история. 2000. № 3–4 <<http://vivovoco.nns.ru/VV/PAPERS/ECCE/STALIB.HTM#3>>.
- Иссерс О. С.* Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск, 1999.
- Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.
- Каринский Н.М.* О говорах восточной половины Бронницкого уезда // Известия ОРЯС. 1903. Т. XVIII. Кн. 2. С. 212–215.
- Кертман Г.* Эпоха Брежнева — в дымке настоящего // Социальная реальность. 2007. № 2. С. 5–21.
- Клемперер В.* ЛТИ. Язык Третьего рейха. М., 1998.
- Козлова Н.Н.* Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 1996.
- Козлова Н.Н.* Упрощение — знак эпохи! // Социологические исследования. 1990. № 7. С. 11–21.
- Колесов В.В.* Древняя Русь: наследие в слове. Бытие и быт. СПб., 2004.
- Костомаров В.Г.* Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной газетной публицистики. М., 1971.
- Кржижановский Г.М.* Великий Ленин. М., 1968.
- Кронгауз М.А.* Новейшая история русского языка: Эпоха социализма // *Jezyki Slowanske wobec Wspolczesnych przemian w Kraiach Europy srod-kowej i Wschodnej.* Opole, 1993. S. 157–166.
- Крученых А.* Язык Ленина. Одиннадцать приемов Ленинской речи. М., 1925.
- Крысин П.* Речевое общение в лингвистически и социально-неоднородной среде // Речевое общение в условиях языковой неоднородности / Ред. Л.П. Крысин. М., 2000 <<http://urss.ru>>.
- Купина Н.А.* Тоталитарный язык. Екатеринбург; Пермь, 1995.
- Лаурнати М., Вихолеми П.* Роль социальных установок восприятия газетного текста // Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976.
- Левидов М.* Организованное упрощение культуры // Красная новь. 1923. Кн. 1.
- Левин Ю.* Заметки о семиотике лозунгов // *Wiener Slawistischer Almanach.* 1988. Bd. 22. S. 69–85.
- Лейся песня. Песенник / Сост. П. Петров. М., 1954.
- Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Изд. 5-е. М., 1970–1983.
- Ленин В.И., Сталин И.В.* Избранные произведения в одном томе. М., 1935.
- Леонтьев А.А.* Восприятие текста как психологический процесс // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия / Под. Ред. Ю.А. Жлуктенко и А.А. Леонтьева. Киев, 1979.
- Линс У.* «Опасный язык». Книга о преследованиях эсперанто. М., 1999.
- Литературная энциклопедия / Гл. ред. А.В. Луначарский. М., 1935. Т. 9.

- Люцидарская А.А.* Челобитные XVII в. в контексте коммуникативной культуры своего времени (на материалах документов Сибирского Приказа) // Сибирский этнографический вестник. 2002. № 7/8 <<http://www.sati.archaeology.nsc.ru>>.
- Мальцев М.* О новом правописании (В порядке обсуждения в связи с Всероссийским орфографическим съездом) // Молодая гвардия. 1930. № 21. С. 88–91.
- Март Н.Я.* Избранные работы. Этапы развития яфетической теории. Л., 1933. Т. 1.
- Март Н.Я.* Избранные работы. М.; Л., 1934. Т. 3.
- Михайлов А.А.* Опыт изучения текста Книги Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе. М., 1912. Ч. 1.
- Мокиенко В., Никитина Т.* Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998.
- Молодая Гвардия. 1926. № 4.
- Мурашов Ю.* Электрифицированное слово. Радио в советской литературе и культуре 1920–1930-х годов // Советская власть и медиа. СПб., 2006. С. 17–38.
- Мурашов Ю.* Письмо и устная речь в дискурсах о языке 1930-х годов: Н. Март // Соцреалистический канон / Ред. Х. Гюнтер., Е. Добренко. СПб., 2000. С. 599–608.
- Нас вырастил Сталин. Рассказы лауреатов Сталинских премий. М., 1950.
- Наши задачи // Революция и язык. 1931. № 1. С. 1–3.
- Неклюдов С.Ю.* Структура и функция мифа // Мифы и мифология современной России / Под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2000. С. 9–26.
- Николаева Т.М.* Лингвистическая демагогия // Прагматика и проблемы интенциональности. М., 1988. С. 154–165.
- Протченко И.Ф.* Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. Социолингвистический аспект. М., 1985 (1-е изд. — М., 1975).
- Речь т. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы 11 декабря 1937 года в Большом театре // Знамя. 1938. № 1. С. 9–13.
- Ржевский Л.* Язык и тоталитаризм. Мюнхен, 1951.
- Родная речь. Книга для чтения в четвертом классе начальной школы / Сост. Е.Е. Соловьева и др. М., 1956.
- Розина Р.И.* Корифей убеждения, или риторика Сталина // Наука убеждать: риторика. 1991. № 8. С. 39–47.
- Романенко А.П.* Образ ратора в советской словесной культуре. М., 2003.
- Рыт Е.М.* Ленин о языке и язык Ленина. М., 1936.
- Селищев А.* Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917–1926). М., 1928.
- Словарь русского языка XI–XVII в. М., 1992. Вып. 18.
- Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка. М., 1989.

- Сталин И.* О Ленине // Правда. 1924. 24 фев. Перепеч.: Правда. 1934. 21 янв.
- Сталин И.В.* Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950.
- Степанов Ю.С.* Словарь русской культуры. М., 1997.
- Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991.
- Талпа М.* Учение Н.Я. Марра и фольклористика // Литературный критик. 1937. № 3. С. 130–160.
- Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. М.; Л., 1933.
- Троцкий Л.* К истории русской революции. М., 1990.
- Уолтон Д.* Аргументы ad hominem. М., 2002.
- Успенский Б.А.* Ego loquens: Язык и коммуникационное пространство. М., 2007.
- Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. М., 1971. Т. 3.
- Федосюк М.Ю.* Выявление приемов «демагогической риторики» как компонент полемического искусства // Риторика в развитии человека и общества: Тез. научной конференции (13–18 января 1992). Пермь, 1992. С. 94–99.
- Фесенко А., Фесенко Т.* Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955.
- Финкель А.* О языке и стиле В.И. Ленина. Харьков, 1925. Вып. 1.
- Хазагеров Г.Г.* «О образах»: Иоанн, Хировоск, Трифон (к диахронии тропов и фигур в греко-славянской традиции) // Известия российской академии наук. Сер. литературы и языка. 1994. Т. 53. № 1. С. 63–71.
- Хазагеров Г.Г.* Политическая риторика. М., 2002. <<http://evartist.narod.ru>>.
- Хан-Пира Э.* Рец. на: Мокиенко В., Никитина Т. Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998 // Знамя. 1999. № 7 <<http://magazines.russ.ru/znamia/1999/hanpira-pr.html>>.
- Шагинян М.* Собр. соч. Л., 1930. Т. IV.
- Шанский Н.М.* Слова, рожденные Октябрем. Книга для внеклассного чтения (VII–X классы). М., 1980.
- Шарифуллин Б.Я.* Языковая экспансия, языковая агрессия и языковая демагогия // Проблемы развития речевой культуры педагога: Тез. регион. научно-практич. семинара. Томск, 1997.
- Шафир Я.* Газета в деревне. М., 1924.
- Шахматов А.А.* Описание Лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии // Известия отд. рус. яз. и лит. 1914. Т. 18. Кн. 4. С. 171–220.
- Эйдлин Ф.* Крушение новояза. Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989.
- Якубинский Л.П.* Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986.
- Arnold T.* The Folklore of Capitalism. New Haven, 1937.
- Blümer W.* Akkommodation // Historisches Wörterbuch der Rhetorik / Hrsg. G. Ueding. Tübingen, 1992. Bd. I. S. 309–313.
- Bourdieu P.* Language and Symbolic Power. Cambridge, 1991.
- Boyer P.* Tradition as Truth and Communication: A Cognitive Description of Traditional Discourse. Cambridge, 1990.

- Brooks J.* Socialist Realism in Pravda: Read All about It! // *Slavic Review*. 1994. Vol. 53. No. 4. P. 973–991.
- Capp G.R., Capp T.P.* Principles of Argumentation and Debate. Englewoods Cliffs, 1965.
- Davidson D.* On the Very Idea of the Conceptual Scheme // *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*. 1974. Vol. 57. P. 5–20.
- Die Makarij-Rhetorik (“Knigi sut’ ritoriki dvoii po tonku v voprosekh spisany”). Mit einer einleitenden Untersuchung herausgegeben nach einer Handschrift von 1623 aus der Undol’skij-Sammlung (Leninbibliothek-Moskau) von Renate Lachmann. Köln; Wien, 1980 (*Rhetorica Slavica*. Bd. I).
- Du Bois J.W.* Self-Evidence and Ritual Speech // *Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology* / Ed. W. Chafe, J. Nichols. Norwood, 1986.
- Edelman M.* Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. Frankfurt am Main; New York, 1990.
- Edelman M.* The Symbolic Uses of Politics. Urbana, 1964.
- Essais sur le discours soviétique. Sémiologie, linguistique, analyse discursive. Grenoble, 1981. T. 1–4.
- Gorham M.S.* Speaking in Soviet Tongues: Language Culture and the Politics of Voice in Revolutionary Russia. DeKalb, 2003.
- Gray P.* Totalitarian Logic: Stalin on Linguistics // *Critical Quarterly*. 1993. Vol. 35. No. 1. P. 16–36.
- Gross A.G.* The Roles of Rhetoric in the Public Understanding of Science // *Public Understanding of Science*. 1994. No. 3. P. 3–23.
- Heller M.* Langue russe et langue soviétique // *Recherches*. 1979. No. 39. P. 17–21.
- Hodge R., Kress G.* Language as Ideology. L.; N.Y., 1993.
- Hodgkinson H.* The Language of Communism. N.Y., 1955.
- Irvine J.T.* The Creation of Identity in Spirit Mediumship and Possession // *Semantic Anthropology* / Ed. D. Parkin. L., 1982. P. 241–260.
- Irvine J.T.* When Talk isn’t Cheap: Language and Political Economy // *American Ethnology*. 1989. Vol. 16. No. 2. P. 248–267.
- Keane W.* Religious Language // *Annual Review of Anthropology*. 1997. Vol. 26. P. 47–71.
- Kegler D.* Untersuchungen zur Bedeutungsgeschichte von *Istina* und *Pravda* im Russischen. Bern; Frankfurt a. M., 1975.
- Kertzer D.* Ritual, Politics, and Power. N.Y., 1988.
- Krysin L.P.* Sociolinguistic Problems in the USSR // *Sociolinguistics*. Tübingen, 1988. S. 1393–1400.
- L’Hermitte R.* Marr, Marrisme, Marristes. Une page de l’histoire de la linguistique soviétique. Paris, 1987.
- Labov W.* The Social Stratification of English in New York City. Washington, 1966.
- Lane C.* The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society: The Soviet Case. N.Y., 1981.

- Lenfeldt W.* «Язык советской эпохи» или «новояз»? // *Russian Linguistics*. 2001. Vol. 25. No. 2. P. 243–253.
- Lincoln B.* *Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification*. Oxford, 1989.
- Manzo A.* *L'Adyneton poetico-retorico e le sue implicazioni dottrinali*. Genua, 1988.
- Mittelstrass J.* *Changing Concept of the A PRIORI* // *Historical and Philosophical Dimensions of Logic, Methodology and Philosophy of Science* / Ed. Butts and Hintikka. Dordrecht; Boston, 1977. P. 113–128.
- Philips K.H.* *Language Theories of the Early Soviet Period*. Exeter, 1986 (Exeter Linguistic Studies. Vol. 10).
- Riegel K.-G.* *Konfessionsrituale im Marxismus-Leninismus*. Graz, 1985.
- Rubin J.* *Bilingualism in Paraguay* // *Anthropological Linguistics*. 1962. No 4.
- Sériot P.* *Analyse du discours politique soviétique*. Paris, 1985.
- Smith M.G.* *Language and Power in the Creation of the USSR, 1917–1953*. Berlin; N.Y., 1998.
- The Power of Discourse in Ritual Performance. Rhetoric, Poetics, Transformations* / Eds. U. Demmar, M. Gaenzle. Berlin; Hamburg; London; Münster, 2007 (Performenzen/Performances. Vol. 10).
- Urban G.* *The “I” of Discourse* // *Semiotics, Self and Society* / Ed. B. Lee, G. Urban. Berlin, 1989. P. 27–51.
- Urban M.E.* *The Ideology of Administration: American and Soviet Cases*. Albany, 1982.
- Venclova T.* *Two Russian Sub-Languages and Russian Ethnic Identity* // *Ethnic Russia in the USSR. The Dilemma of Dominance*. Ed. E. Allworth. N.Y., 1980. P. 249–256.
- Weiss D.* *Prolegomena zur Geschichte der verbalen Propaganda in der Sowjetunion* // *Slavistische Linguistik* 1994. Referate des XX. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens / Hrsg. D. Weiss. München, 1995. S. 343–393.
- Weiss D.* *Was ist neu am „newspeak“? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion* // *Slavistische Linguistik* 1985. Referate des XI. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens / Hrsg. R. Rathmayr. München, 1986. S. 247–325.
- Wertsch J.* *The Influence of Listener Perception of the Speaker on Recognition Memory* // *Journal of Psycholinguistic Research*. 1975. Vol. 4. P. 89–98.
- Young J.W.* *Totalitarian Language: Orwell's Newspeak and Its Nazi and Communist Antecedents*. Charlottesville, 1991.
- Zakharine D.* *Von Angesicht zu Angesicht. Der Wandel direkter Kommunikation in der ost- und westeuropäischen Neuzeit*. Konstanz, 2005.
- Zaslavsky V., Fabris M.* *Лексика неравенства. К проблеме развития русского языка в советский период* // *Revue des études slaves*. 1982. Vol. 54. No. 3. P. 387–402.